Ганс Христиан Андерсен

Девочка, которая наступила на хлеб

Вы, конечно, слышали о девочке, которая наступила на хлеб, чтобы не запачкать башмачков, слышали и о том, как плохо ей потом пришлось. Об этом и написано, и напечатано.
Она была бедная, но гордая и спесивая девочка. В ней, как говорится, были дурные задатки. Крошкой она любила ловить мух и обрывать у них крылышки; ей нравилось, что мухи из летающих насекомых превращались в ползающих. Ловила она также майских и навозных жуков, насаживала их на булавки и подставляла им под ножки зеленый листик или клочок бумаги. Бедное насекомое ухватывалось ножками за бумагу, вертелось и изгибалось, стараясь освободиться от булавки, а Инге смеялась:
— Майский жук читает! Ишь, как переворачивает листок!
С летами она становилась скорее хуже, чем лучше; к несчастью своему, она была прехорошенькая, и ей хоть и доставались щелчки, да все не такие, какие следовало.
— Крепкий нужен щелчок для этой головы! — говаривала ее родная мать. — Ребенком ты часто топтала мой передник, боюсь, что выросши ты растопчешь мне сердце!
Так оно и вышло.
Инге поступила в услужение к знатным господам, в помещичий дом. Господа обращались с нею, как со своей родной дочерью, и в новых нарядах Инге, казалось, еще похорошела, зато и спесь ее все росла да росла.
Целый год прожила она у хозяев, и вот они сказали ей:
— Ты бы навестила своих стариков, Инге!
Инге отправилась, но только для того, чтобы показаться родным в полном своем параде. Она уже дошла до околицы родной деревни, да вдруг увидала, что около пруда стоят и болтают девушки и парни, а неподалеку на камне отдыхает ее мать с охапкой хвороста, собранного в лесу. Инге — марш назад: ей стало стыдно, что у нее, такой нарядной барышни, такая оборванная мать, которая вдобавок сама таскает из лесу хворост. Инге даже не пожалела, что не повидалась с родителями, ей только досадно было.
Прошло еще полгода.
— Надо тебе навестить своих стариков, Инге! — опять сказала ей госпожа. — Вот тебе белый хлеб, снеси его им. То-то они обрадуются тебе!
Инге нарядилась в самое лучшее платье, надела новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, стараясь не запачкать башмачков, — ну, за это и упрекать ее нечего. Но вот тропинка свернула на болотистую почву; приходилось пройти по грязной луже. Не долго думая, Инге бросила в лужу свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одною ногой, а другую приподняла, собираясь шагнуть на сухое место, хлеб начал погружаться с нею все глубже и глубже в землю — только черные пузыри пошли по луже!
Вот какая история!
Куда же попала Инге? К болотнице в пивоварню. Болотница приходится теткой лешим и лесным девам; эти-то всем известны: про них и в книгах написано, и песни сложены, и на картинах их изображали не раз, о болотнице же известно очень мало; только когда летом над лугами подымается туман, люди говорят, что «болотница пиво варит!» Так вот, к ней-то в пивоварню и провалилась Инге, а тут долго не выдержишь! Клоака — светлый, роскошный покой в сравнении с пивоварней болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов тут видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же между некоторыми и отыщется где щелочка, то тут сейчас наткнешься на съежившихся в комок мокрых жаб и жирных лягушек.
Да, вот куда попала Инге! Очутившись среди этого холодного, липкого, отвратительного живого

месива, Инге задрожала и почувствовала, что ее тело начинает коченеть. Хлеб крепко прильнул к ее ногам и тянул ее за собою, как янтарный шарик соломинку.
Болотница была дома; пивоварню посетили в этот день гости: черт и его прабабушка, ядовитая старушка. Она никогда не бывает праздною, даже в гости берет с собою какое-нибудь рукоделье: или шьет из кожи башмаки, надев которые человек делается непоседой, или вышивает сплетни, или, наконец, вяжет необдуманные слова, срывающиеся у людей с языка, — все во вред и на пагубу людям! Да, чертова прабабушка — мастерица шить, вышивать и вязать!
Она увидала Инге, поправила очки, посмотрела на нее еще и сказала:
«Да она с задатками! Я попрошу вас уступить ее мне в память сегодняшнего посещения! Из нее выйдет отличный истукан для передней моего правнука!»
Болотница уступила ей Инге, и девочка попала в ад — люди с задатками могут попасть туда и не прямым путем, а окольным!
Передняя занимала бесконечное пространство; поглядеть вперед — голова закружится, оглянуться назад — тоже. Вся передняя была запружена изнемогающими грешниками, ожидавшими, что вот-вот двери милосердия отворятся. Долгонько приходилось им ждать! Большущие, жирные, переваливающиеся с боку на бок пауки оплели их ноги тысячелетней паутиной; она сжимала их, точно клещами, сковывала крепче медных цепей. Кроме того, души грешников терзались вечной мучительной тревогой. Скупой, например, терзался тем, что оставил ключ в замке своего денежного ящика, другие... да и конца не будет, если примемся перечислять терзания и муки всех грешников!
Инге пришлось испытать весь ужас положения истукана; ноги ее были словно привинчены к хлебу.
«Вот и будь опрятной! Мне не хотелось запачкать башмаков, и вот каково мне теперь! — говорила она самой себе. — Ишь, таращатся на меня!» Действительно, все грешники глядели на нее; дурные страсти так и светились в их глазах, говоривших без слов; ужас брал при одном взгляде на них!
«Ну, на меня-то приятно и посмотреть! — думала Инге. — Я и сама хорошенькая и одета нарядно!» И она повела на себя глазами — шея у нее не ворочалась. Ах, как она выпачкалась в пивоварне болотницы! Об этом она и не подумала! Платье ее все сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее, а из каждой складки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные охрипшие моськи. Страсть, как было неприятно! «Ну, да и другие-то здесь выглядят не лучше моего!» — утешала себя Инге.
Хуже же всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, руки и ноги не двигались, она вся будто окаменела и могла только водить глазами во все стороны, кругом, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко! И вдобавок ко всему этому явились мухи и начали ползать по ее глазам взад и вперед; она моргала глазами, но мухи не улетали — крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука! А тут еще этот голод! Под конец Инге стало казаться, что внутренности ее пожрали самих себя, и внутри у нее стало пусто, ужасно пусто!
— Ну, если это будет продолжаться долго, я не выдержу! — сказала Инге, но выдержать ей пришлось: перемены не наступало.
Вдруг на голову ей капнула горячая слеза, скатилась по лицу на грудь и потом на хлеб; за нею другая, третья, целый град слез. Кто же мог плакать об Инге?
А разве у нее не оставалось на земле матери? Горькие слезы матери, проливаемые ею из-за своего ребенка, всегда доходят до него, но не освобождают его, а только жгут, увеличивая его муки.
Ужасный, нестерпимый голод был, однако, хуже всего! Топтать хлеб ногами и не быть в состоянии отломить от него хоть кусочек! Ей казалось, что все внутри ее пожрало само себя, и она стала тонкой, пустой тростинкой, втягивавшей в себя каждый звук. Она явственно слышала все, что

говорили о ней там, наверху, а говорили-то одно дурное. Даже мать ее, хоть и горько, искренно оплакивала ее, все-таки повторяла: «Спесь до добра не доводит! Спесь и сгубила тебя, Инге! Как ты огорчила меня!»
И мать Инге и все там, наверху, уже знали о ее грехе, знали, что она наступила на хлеб и провалилась сквозь землю. Один пастух видел все это с холма и рассказал другим.
— Как ты огорчила свою мать, Инге! — повторяла мать. — Да я другого и не ждала!
«Лучше бы мне и не родиться на свет! — думала Инге. — Какой толк из того, что мать теперь хнычет обо мне!»
Слышала она и слова своих господ, почтенных людей, обращавшихся с нею, как с дочерью: «Она большая грешница! Она не чтила даров Господних, попирала их ногами! Не скоро откроются для нее двери милосердия!»
«Воспитывали бы меня получше, построже! — думала Инге. — Выгоняли бы из меня пороки, если они во мне сидели!»
Слышала она и песню, которую сложили о ней люди, песню о спесивой девочке, наступившей на хлеб, чтобы не запачкать башмаков. Все распевали ее.
«Как подумаю, чего мне ни пришлось выслушать и выстрадать за мою провинность! — думала Инге. — Пусть бы и другие поплатились за свои! А скольким бы пришлось! У, как я терзаюсь!»
И душа Инге становилась еще грубее, жестче ее оболочки.
— В таком обществе, как здесь, лучше не станешь! Да я и не хочу! Ишь, таращатся на меня! — говорила она и вконец ожесточилась и озлобилась на всех людей. — Обрадовались, нашли теперь, о чем галдеть! У, как я терзаюсь!
Слышала она также, как историю ее рассказывали детям, и малютки называли ее безбожницей.
— Она такая гадкая! Пусть теперь помучается хорошенько! — говорили дети.
Только одно дурное слышала о себе Инге из детских уст. Но вот раз, терзаясь от голода и злобы, слышит она опять свое имя и свою историю. Ее рассказывали одной невинной, маленькой девочке, и малютка вдруг залилась слезами о спесивой, суетной Инге.
— И неужели она никогда не вернется сюда, наверх? — спросила малютка.
— Никогда! — ответили ей.
— А если она попросит прощения, обещает никогда больше так не делать?
— Да она вовсе не хочет просить прощения!
— Ах, как бы мне хотелось, чтобы она попросила прощения! — сказала девочка и долго не могла утешиться. — Я бы отдала свой кукольный домик, только бы ей позволили вернуться на землю! Бедная, бедная Инге!
Слова эти дошли до сердца Инге, и ей стало как будто полегче: в первый раз нашлась живая душа, которая сказала: «бедная Инге!» — и не прибавила ни слова о ее грехе. Маленькая, невинная девочка плакала и просила за нее!.. Какое-то странное чувство охватило душу Инге; она бы, кажется, заплакала сама, да не могла, и это было новым мучением.
На земле годы летели стрелою, под землею же все оставалось по-прежнему. Инге слышала свое имя все реже и реже — на земле вспоминали о ней все меньше и меньше. Но однажды долетел до нее вздох:
«Инге! Инге! Как ты огорчила меня! Я всегда это предвидела!» Это умирала мать Инге.
Слышала она иногда свое имя и из уст старых хозяев.
Хозяйка, впрочем, выражалась всегда смиренно: «Может быть, мы еще свидимся с тобою, Инге! Никто не знает, куда попадет!»
Но Инге-то знала, что ее почтенной госпоже не попасть туда, куда попала она.
Медленно, мучительно медленно ползло время.

И вот Инге опять услышала свое имя и увидела, как над нею блеснули две яркие звездочки: это закрылась на земле пара кротких очей. Прошло уже много лет с тех пор, как маленькая девочка неутешно плакала о «бедной Инге»: малютка успела вырасти, состариться и была отозвана Господом Богом к Себе. В последнюю минуту, когда в душе вспыхивают ярким светом воспоминания целой жизни, вспомнились умирающей и ее горькие слезы об Инге, да так живо, что она невольно воскликнула:
«Господи, может быть, и я, как Инге, сама того не ведая, попирала ногами Твои всеблагие дары, может быть, и моя душа была заражена спесью, и только Твое милосердие не дало мне пасть ниже, но поддержало меня! Не оставь же меня в последний мой час!»
И телесные очи умирающей закрылись, а духовные отверзлись, и так как Инге была ее последней мыслью, то она и узрела своим духовным взором то, что было скрыто от земного — увидала, как низко пала Инге. При этом зрелище благочестивая душа залилась слезами и явилась к престолу Царя Небесного, плача и молясь о грешной душе так же искренно, как плакала ребенком. Эти рыдания и мольбы отдались эхом в пустой оболочке, заключавшей в себе терзающуюся душу, и душа Инге была как бы подавлена этой нежданной любовью к ней на небе. Божий ангел плакал о ней! Чем она заслужила это? Измученная душа оглянулась на всю свою жизнь, на все содеянное ей и залилась слезами, каких никогда не знавала Инге. Жалость к самой себе наполнила ее: ей казалось, что двери милосердия останутся для нее запертыми на веки вечные! И вот, едва она с сокрушением сознала это, в подземную пропасть проник луч света, сильнее солнечного, который растопляет снежного истукана, слепленного на дворе мальчуганами, и быстрее, чем тает на теплых губках ребенка снежинка, растаяла окаменелая оболочка Инге. Маленькая птичка молнией взвилась из глубины на волю. Но, очутившись среди белого света, она съежилась от страха и стыда — она всех боялась, стыдилась и поспешно спряталась в темную трещину в какой-то полуразрушившейся стене. Тут она и сидела, съежившись, дрожа всем телом, не издавая ни звука, — у нее и не было голоса. Долго сидела он так, прежде чем осмелилась оглядеться и полюбоваться великолепием Божьего мира. Да, великолепен был Божий мир! Воздух был свеж и мягок, ярко сиял месяц, деревья и кусты благоухали; в уголке, где укрылась птичка, было так уютно, а платьице на ней было такое чистенькое, нарядное. Какая любовь, какая красота были разлиты в Божьем мире! И все мысли, что шевелились в груди птички, готовы были вылиться в песне, но птичка не могла петь, как ей ни хотелось этого; не могла она ни прокуковать, как кукушка, ни защелкать, как соловей! Но Господь слышит даже немую хвалу червяка и услышал и эту безгласную хвалу, что мысленно неслась к небу, как псалом, звучавший в груди Давида, прежде чем он нашел для него слова и мелодию.
Немая хвала птички росла день ото дня и только ждала случая вылиться в добром деле.
Настал сочельник. Крестьянин поставил у забора шест и привязал к верхушке его необмолоченный сноп овса — пусть и птички весело справят праздник Рождества Спасителя!
В рождественское утро встало солнышко и осветило сноп; живо налетели на угощение щебетуньи-птички. Из расщелины в стене тоже раздалось: «пи! пи!» Мысль вылилась в звуке, слабый писк был настоящим гимном радости: мысль готовилась воплотиться в добром деле, и птичка вылетела из своего убежища. На небе знали, что это была за птичка.
Зима стояла суровая, воды были скованы толстым льдом, для птиц и зверей лесных наступили трудные времена. Маленькая пташка летала над дорогой, отыскивая и находя в снежных бороздах, проведенных санями, зернышки, а возле стоянок для кормежки лошадей — крошки хлеба; но сама она съедала всегда только одно зернышко, одну крошку, а затем сзывала кормиться других голодных воробышков. Летала она и в города, осматривалась кругом и, завидев накрошенные из окна милосердной рукой кусочки хлеба, тоже съедала лишь один, а все остальное отдавала другим.

В течение зимы птичка собрала и раздала такое количество хлебных крошек, что все они вместе весили столько же, сколько хлеб, на который наступила Инге, чтобы не запачкать башмаков. И когда была найдена и отдана последняя крошка, серые крылья птички превратились в белые и широко распустились.

— Вон летит морская ласточка! — сказали дети, увидав белую птичку.

Птичка то ныряла в волны, то взвивалась навстречу солнечным лучам — и вдруг исчезла в этом сиянии. Никто не видел, куда она делась.

— Она улетела на солнышко! — сказали дети.